



## ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

МАТЕРИАЛЫ К IV МЕЖДУНАРОДНОМУ СЪЕЗДУ  
СЛАВИСТОВ \*

**В о п р о с № 7. Что нового внесла структуральная лингвистика в историческое и сравнительно-историческое изучение славянских языков?**

Структуральная лингвистика наряду с различными недостатками имела также и бесспорные достоинства, проявившиеся, помимо прочего, в сравнительно-историческом изучении славянских языков, прежде всего в фонологии. Некоторые положения, установленные структуральным языкознанием, постепенно стали более или менее общепринятыми в лингвистических исследованиях вообще и тем самым в области славистики. В данном ответе мы хотим сосредоточить свое внимание на главных из них применительно к изучению славянских языков. При этом мы признаем, что структуральная лингвистика не была абсолютно едина ни в прошлом, ни в настоящее время и что существовали значительные расхождения даже среди представителей пражской школы, которая нас прежде всего здесь интересует.

Первым важным принципом структуральной лингвистики следует признать понимание языка как системы. Язык есть система, составные части которой связаны между собой различными отношениями и взаимно обусловлены. Системность языка признают не только структуралисты, но они первыми пытались определить как природу языковых систем, так и характер системных отношений. В некоторых случаях системного изучения языка общепризнанное решение по этим вопросам не было достигнуто, но в целом понимание структуры оказалось пригодным как в исследованиях описательных (синхронных), так и исторических. Была доказана, например, важность приема бинарных соотношений и различия признакового и беспризнакового члена во взаимно противопоставленных парах. Однако, подчеркивая важность двучленных противоположностей, представители пражской школы иногда заходили слишком далеко (например, при объяснении падежной системы славянских языков).

Существенным моментом системы языка лингвисты пражской школы считали функциональную направленность языка, обслуживание языком

\*«Вопросы языкознания» продолжают публикацию отдельных ответов на вопросы, поставленные перед участниками предстоящего IV Международного съезда славистов.

В этом номере мы помещаем ответы на вопрос № 7 «Что нового внесла структуральная лингвистика в историческое и сравнительно-историческое изучение славянских языков?», связанный с дискуссией по структурализму, которая ведется на страницах нашего журнала. Ответы на вопрос № 21 «Как следует представлять территорию славянской прародинны?» продолжают в известной мере рассмотрение проблем, поставленных в вопросе № 20 о балто-славянском языковом и этническом единстве (см. ВЯ, 1958, № 1) и ставят новые, важные проблемы. Ответы М. Будимира, В. Георгиева, Ив. Леова, И. Поповича, Э. Дикенмана, С. Боднарчука печатаются в переводе А. К. Кошелева, ответ Т. Лера-Сплавинского — в переводе Л. Е. Бокаревой.

практических нужд жизни. Подчеркивалась важность не только внутренних взаимоотношений, но и отношений языковой системы и языковых проявлений к внеязыковой действительности. В фонологии — главным предмете исследования пражской школы — внимание было обращено также на материальный субстрат, акустико-физиологическую реальность. Из тезиса о важности функциональной направленности языка вытекало и рассмотрение взаимоотношений языка и мышления, но эти отношения не были исследованы в достаточной мере, что объяснялось, кроме всего прочего, отрицательным отношением к так называемому «лингвистическому психологизму». Эта позиция имела в тогдашней ситуации свое временное историческое оправдание; она помогла, например, более точно понять форму, но с течением времени стала тормозом для дальнейшего развития структуральной лингвистики.

Плодотворность понимания языка как системы была доказана также при исследовании языка в его развитии. При изучении славянских языков это стало очевидным после некоторых работ в области исторической фонетики (наибольшее внимание уделялось фонологии праславянского языка). Связь фонологического развития с развитием грамматической системы принималась во внимание главным образом при исследовании развития чешского склонения. Плодотворность понимания языка как системы была далее доказана при сравнительно-историческом исследовании славянского глагола, когда исследовалась, например, обусловленность отношений между категориями вида и времени. Структуралисты пражской школы не создали методических основ для изучения синтаксиса, поэтому их влияние не проявлялось при сравнительно-историческом исследовании синтаксического строя славянских языков и начинает проявляться только в настоящее время.

Системное функциональное понимание языка приводило в пражской школе к восприятию языка как сложной ф о р м а ц и и, д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о й п о о т д е л ь н ы м п л а с т а м. В литературном языке различались функциональные языки, или стили, например, стиль научный, профессиональный, поэтический, разговорный и др. Иногда при этом прямо говорилось о сложной системе, складывающейся из частных функциональных систем. В трудах пражской школы иногда преувеличивался удельный вес частных систем, например, о поэтическом языке говорилось, что это вполне самостоятельная функциональная разновидность языка, специфика которой состоит в нарушении литературной нормы. Но в целом понимание языка как функционально дифференцированной формации было вполне оправданным, и при изучении развития литературных славянских языков были достигнуты хорошие результаты (наиболее значительные работы касаются чешского литературного языка).

Последовательное понимание языка как системы приводило в структуральной лингвистике к выдвиганию на первый план языковой с и н х р о н и и. При исследовании развития языка оказывалось необходимым сравнение языковых систем различных исторических периодов и исследование отдельных явлений в их системной обусловленности, ввиду того что система дана синхронным сосуществованием отдельных составных частей. При синхронном методе особое значение придавалось языковой современной деятельности; только таким образом можно было постичь языковую систему во всем ее сложном многообразии. Опытные данные и сведения, полученные при изучении современного состояния языка, могли быть использованы и при изучении языка в его развитии.

Принципиальная программа пражской школы не противопоставляла синхронного и диахронного исследования языка в плане их методического взаимоисключения. Особое значение придавалось тому обстоятельству,

что при историческом исследовании нужно исходить из системности (т. е. из синхронии, касающейся определенного периода), а при синхронном исследовании нужно иметь в виду динамику языковой системы. Это приводило, кроме того, к плодотворному различению продуктивных и непродуктивных явлений грамматического строя, широко распространенному в советской лингвистике.

Отличительный признак структурализма, к которому мы относимся положительно, состоит в различении языка-системы (*langue*, чешск. *jazyk*) и языковой деятельности (*parole*, чешск. *mluva*). Отношение между *langue* и *parole* не всегда правильно понималось структуралистами, но и критики структурализма не всегда в достаточной мере разбирались в сущности этой проблемы. Язык (*langue*) следует понимать как абстрактную систему-норму, которая является необходимым условием взаимопонимания, но не имеет особой формы существования и может быть познана только на основе конкретных языковых проявлений. К речи, к речевому процессу относятся не только отдельные речевые проявления, но также процессы восприятия ее слухом и мышлением. При исследовании живой языковой деятельности следует обращать внимание на так называемую внутреннюю речь, которая необходимо сопровождает каждый процесс мышления, а также на чтение про себя. В изучении *langue* структуральная лингвистика продвинулась дальше, чем в исследовании *parole*. Наибольшее внимание при исследовании речи до сих пор уделялось художественным произведениям. Структуральная поэтика и стилистика пражской школы достигли значительных результатов только в области богемистики и русистики.

Характерной чертой структурализма всех направлений нужно считать подчеркивание знаковой природы языка. Но структуралисты не всегда были в состоянии достаточно ясно выразить, в чем следует видеть сущность знаковости, и не всегда могли убедительно ответить критикам, отрицающим знаковость языка. В настоящее время уже почти общепризнано, что сущностью языковой знаковости является немотивированность отношения между звуковой формой и значением. Некоторые лингвисты пражской школы (прежде всего покойный Коржинек) защищали мнение, согласно которому в языке следует различать условную знаковость и естественную знаковость. Естественная знаковость (т. е. внутренне мотивированное отношение между звуковой формой и значением) усматривалась или в фонетическом составе некоторых слов (главным образом у междометий), или в средствах выражения звуковой формы предложений (главным образом в интонации предложения).

Для исследования этих явлений структуральная лингвистика не создала надежных методов. Фонологические исследования также не продвинулись далее чисто программных определений. Главной сферой деятельности структуральной фонологии осталось исследование фонетических систем, для которого удалось создать действительно научный метод, опирающийся на точную систему понятий. При выработке методических принципов исследования грамматических систем в пражской школе не было достигнуто единства в принципиальных вопросах. Так называемый принцип изоморфизма, согласно которому грамматическая система оказывается построенной таким же способом, как и фонетическая, не получил общего признания и применения в области исследования славянских языков.

*Б. Гавранек, К. Горалек, В. Скаличка, П. Трост (Прага)*

На какой бы позиции ни стоял лингвист по вопросу о соотношении между фонетикой и фонологией, как бы резко отрицательно ни относился он к антиисторическим концепциям отдельных структуралистов, все-таки он не может отклонить того вклада в науку, который внесла структуральная лингвистика в изучение языка, хотя многое здесь и остается окончательно невыясненным. Сравнительно-исторический метод дает возможность установить изменения в истории языка, раскрыть закономерности его развития, но он обычно не объясняет причины, которые вызывают эти изменения. Изучение структуры (системы) языка позволяет раскрыть эти причины. Сравнительно-историческое и структуральное изучение языка не исключают друг друга, а взаимно дополняют и способствуют более целостному пониманию языковых явлений.

Следующий пример может иллюстрировать это положение. Историческое изучение болгарского языка показывает, что древнеболгарские окончания прилагательных *-ѡ, -а, -о, -и, -ы, -а* (например, ед. число *новѡ, нова, ново*, мн. число *нови, новы, нова* — простые формы; ед. число *новыи, новаю, новоѡ*, мн. число *новии, новыи, новаю* — сложные формы) изменились в новоболгарском в *о, -а, -о, -и* (ед. число *нов, нова, ново*, мн. число *нови*). Сравнительно-историческое изучение только констатирует эти изменения, но не дает им объяснения. Язык представляет собой «систему систем», которые взаимообусловлены и связаны в одно целое: изменения в какой-либо из этих систем вызывают изменения в других системах. Упомянутые древнеболгарские формы ясно отличались одна от другой по своим окончаниям (первоначально, вероятно, и форма жен. рода ед. числа отличалась от аналогичной формы сред. рода мн. числа ударением). Но позже, вследствие изменения *ы* в *и* и стяжения окончания мужского и женского рода, мн. числа простой формы и окончания мужского рода ед. и мн. чисел сложной формы совпали. Тем самым система различения по роду во мн. числе была нарушена, и, кроме того, она нарушалась вследствие идентичности окончаний ед. числа женского рода и мн. числа среднего рода. Началось смешение (перекрещивание) систем «рода» и «числа». Двухзначность морфемы *-а* (жен. рода ед. числа и сред. рода мн. числа) в одной и той же системе словоизменения затрудняла восприятие говорящего, для которого существенна необходимость различения рода и числа. Это нарушение отношений между двумя системами ликвидировалось устранением формы *нова* мн. числа сред. рода. Таким образом, снова получились ясные соотношения: нулевая флексия — мужской род, *а* — женский род, *о* — средний род, *и* — множественное число.

В. Георгиев (София)

1. Важнейшим вкладом структурализма в историческое и сравнительно-историческое языкознание является подход к языку как к системе сосуществующих и взаимообусловленных средств общения, откуда следует заключение, что предметом исторического языкознания должно быть развитие языковой системы как целого и что отдельные факты развития надо изучать и объяснять всегда только в связи с данным целым. Так как система существует всегда синхронно, синхронный анализ фактов является в историческом языкознании необходимым исходным пунктом. Синхронный метод представляет обогащение и углубление историзма, а не его отрицание, как предполагал де Соссюр и как до сих пор иногда ошибочно утверждают.

2. Из того факта, что синхронное познание предшествует диахронному, следует, что возможность использования структурального метода при историческом и сравнительно-историческом исследовании отдельных пла-

нов языка зависит от состояния синхронной теории в соответствующей области языкознания и от разработанности методов синхронного анализа. Как известно, структуральная теория языка разработана неравномерно, и потому результаты ее использования в разных отраслях сравнительно-исторического языкознания проявляются не в равной мере; в некоторых отраслях они до сих пор вообще не проявились, например, в сравнительно-историческом изучении лексики или синтаксиса.

3. В славянском сравнительно-историческом языкознании структуральные методы проявились наиболее ярко в исторической фонологии, где в самом начале, наряду с глубокими статьями Н. Трубецкого, разрабатываемыми чрезвычайно тонко относительную хронологию славянских фонологических изменений, появляется выдающаяся работа Р. Якобсона о русском и славянском фонологическом развитии (*Remarques sur l'évolution phonologique du russe comparée à celle des autres langues slaves*, 1929). Можно спорить о правильности отдельных выводов работы Якобсона (новейшие фонологические исследования, в частности, Вейка и Мареша, приводят в ряде случаев к другим результатам), но нельзя, по моему мнению, сомневаться в том, что работа Якобсона явилась значительным толчком к изучению фонологических фактов в историческом плане и что она надолго определила метод и программу дальнейшего исследования в области славянской исторической фонологии. Плодотворность фонологического метода подтверждается также работами о фонологическом развитии отдельных славянских языков, например, словацкого и чешского (Новак, Паулини и др.), польского (Трубецкой, Штибер), полабского (Трубецкой) и др. С фонологической точки зрения связь отдельных изменений становится очевидной, и часто удается показать, что характер данного звукового изменения был более или менее искажен традиционным объяснением, изолирующим отдельные факты; например, чешское изменение тавтосиллабического *aj* в *ej*, которое традиционно объяснялось влиянием последующего палатального *j* на гласный *a*, имеет на самом деле непосредственный импульс в дифтонгизации гласного *ú* (см. мою статью в журнале «*Listy filologické*», 80, 1957).

4. При изучении доисторического языкового развития использование структурального метода затруднено фрагментарностью материала и его хронологической разнородностью. Однако и здесь структуральный метод является более выгодным, чем традиционный сравнительно-исторический метод младограмматиков, так как первый приступает к воссозданию отдельных частей и черт языковой системы на основании опыта, приобретенного в результате изучения живых языковых систем и их закономерностей и потому может избежать безжизненных реконструкций, проектирующих в одну хронологическую плоскость явления, сосуществование которых исключено. В славянской филологии эта положительная черта проявляется особенно выразительно в новых акцентологических трудах Н. Трубецкого и Е. Куриловича, пересматривающих и переоценивающих результаты старой акцентологии (фортунаатовско-де-соссюрвской) на основании углубленного познания роли интонации в живых политонических языках. Хотя результаты этого пересмотра не всегда окончательны, все же здесь точно указан путь к более правильному истолкованию балто-славянской и общеславянской интонационной системы и ее развития.

5. Вкладом в сравнительно-историческое изучение формальной стороны морфологии я считаю — несмотря на некоторые его недостатки — структурально-типологический метод, так как он позволяет более полно постичь тенденции, определяющие формальное развитие языка, а также связи этого формального развития с развитием остальных планов языка (фоно-

логического и синтаксического). Интересным опытом в этом отношении является работа В. Скалички о развитии чешской деklinации (1940).

6. Безусловно положительной оценки заслуживают работы пражского лингвистического кружка по теории литературного языка, углубляющие понятие нормы литературного языка и его функциональной дифференциации, которые имеют для исторического изучения славянских литературных языков огромное значение. Примером применения функциональной точки зрения к развитию литературного языка является работа академика Б. Гавранка о развитии чешского литературного языка.

*Мирослав Комарек* (Оломоуц)

Для того чтобы выяснить, что нового внесла структурная лингвистика в историческое и сравнительно-историческое изучение славянских языков, необходимо рассмотреть, как понимается история языка в структурной лингвистике и в традиционном языкознании. Концепция истории языка в структурной лингвистике в корне противоположна концепции истории языка в традиционном языкознании. Для характеристики коренного различия между обеими концепциями истории языка наиболее существенны следующие два принципа, на которые опирается структурная лингвистика: принцип дискретности исторического процесса и принцип имманентности.

1. Остановимся прежде всего на принципе дискретности исторического процесса. В противоположность традиционному языкознанию, которое рассматривает историю языка как непрерывный процесс, структурная лингвистика считает, что история языка представляет собой дискретный процесс. Допустим, что даны три эпохи в истории какого-нибудь языка: эпоха I, эпоха II и эпоха III. С точки зрения традиционного языкознания, если какой-либо элемент А эпохи I изменился в элемент В эпохи II, а элемент В изменился в элемент С эпохи III, то свойства элемента В выводимы из свойств элемента А, а свойства элемента С выводимы из свойств элемента В; таким образом, элементам А, В, С приписывается непрерывная связь во времени, в силу которой элемент С оказывается в конечном счете тем же элементом А, но в замаскированном виде. С точки же зрения структурной лингвистики свойства элемента В не выводимы из свойств элемента А, а свойства элемента С не выводимы из свойств элемента В: в силу дискретности исторического процесса элемент В представляет собой мутацию элемента А, а элемент С — мутацию элемента В, и, таким образом, элемент В должен считаться новым элементом по сравнению с элементом А, а элемент С — новым элементом по сравнению с элементом В; отсюда, для того чтобы раскрыть специфические свойства элементов А, В, С, мы должны проанализировать каждый из этих элементов в их соотношении с другими элементами в соответствующую эпоху.

В то время как для традиционного языкознания история языка есть эволюция изолированных элементов, которые можно познать путем выведения свойств одних элементов из свойств других элементов по временной оси, для структурной лингвистики история языка есть история преобразования одних дискретных систем элементов в другие дискретные системы элементов.

2. Перейдем к принципу имманентности. В противоположность традиционному языкознанию, которое ищет объяснений языковых изменений в социальных, психологических, физиологических и других внешних аспектах существования языка, структурная лингвистика считает, что, хотя внешние аспекты существования языка и влияют на языковые изме-

нения, однако задача науки о языке состоит в поисках имманентных факторов языковых изменений, лежащих в самой структуре языка. С точки зрения структурной лингвистики объяснения языковых изменений путем ссылок на физиологические факторы или с помощью понятия субстрата не могут, независимо от своей правильности или неправильности, считаться лингвистическими объяснениями и, таким образом, не имеют прямого отношения к науке о языке в собственном смысле. По меткому сравнению Е. Куриловича, лингвист, объясняющий языковые изменения путем ссылок на физиологические факторы или на субстрат, напоминает того врача, который, выясняя причину насильственной смерти человека, поставил бы диагноз, что смерть последовала от удара ножом или, скажем, от повешения: подобно тому как медицинским диагнозом насильственной смерти является «кровотечение» или «удушение», а не «удар ножа» или «повешение», точно так же и лингвистическим диагнозом условий, скажем, фонологических изменений должны быть не ссылки на физиологические факторы или субстрат, а констатация определенных сдвигов в сфере употребления фонем, в составе морфемы или в других структурных аспектах функционирования фонем. Типичным примером диаметрально противоположного подхода традиционного языкознания и структурной лингвистики к изучению условий языковых изменений может служить проблема мазурения в польском языке. Представители традиционного языкознания пытаются объяснить возникновение мазурения влиянием субстрата. Между тем, как показал Е. Курилович, проблему мазурения можно решить в чисто лингвистическом плане, не прибегая к понятию субстрата (J. Kuryłowicz, Uwagi o mazurzeniu, «Biuletyn polskiego towarzystwa językoznawczego», zesz. XIII, 1954). Результаты исследования Е. Куриловича представляются нам вполне убедительными, но мы должны со всей силой подчеркнуть, что здесь важна прежде всего сама постановка проблемы: Е. Курилович перенес проблему мазурения из нелингвистического плана в лингвистический план.

Принцип дискретности исторического процесса и принцип имманентности, на которые опирается структурная лингвистика, производят революцию в традиционном понимании истории языка. Так как традиционное языкознание занимается историей изолированных языковых элементов и не понимает лингвистической сущности языковых изменений, то история языка в традиционном языкознании носит крайне эмпирический характер и сводится к простому описательству. Структурная лингвистика поднимает историю языка на качественно новую ступень—со ступени описания на ступень объяснения изменений элементов языка.

В плане противопоставления того, как понимается история языка в традиционном языкознании и в структурной лингвистике, становится ясным значение структурной лингвистики для исторического и сравнительно-исторического изучения конкретных языков и, в частности, славянских языков. То новое, что внесла структурная лингвистика в историческое и сравнительно-историческое изучение славянских языков, представляет собой не новые факты, а новые революционные идеи. Традиционное славянское языкознание накопило огромный фактический материал в области истории славянских языков, но в силу своего эмпиризма оно не в состоянии теоретически интерпретировать этот фактический материал. Структурная лингвистика, открыв путь к теоретической интерпретации огромного фактического материала, накопленного традиционным языкознанием в области истории славянских языков, революционизирует историческое и сравнительно-историческое изучение славянских языков и поднимает его на уровень теоретической науки.

*С. К. Шаумян (Москва)*



В о п р о с № 21: Как следует представлять территорию славянской прародины?

Ответ на этот вопрос легче предыдущего<sup>1</sup>, так как не вызывает сомнений сама постановка вопроса. Только один пункт требует предварительного выяснения. Вопрос о местонахождении прародины славян может иметь двоякий аспект: так как речь здесь может идти о пространстве, которое занимали славяне в период, непосредственно предшествующий распаду их языковой общности, или о территории, служившей колыбелью этой общности, т. е. о районе, где в определенный период образовались условия, сделавшие возможным ее возникновение, и откуда путем этнической или только языковой экспансии славяне распространились на территории, которую они занимали в период ослабления и распада внутренних связей. Если мы хотим дать удовлетворительный ответ на этот вопрос, мы должны принять во внимание оба эти аспекта.

Первый из них получил, собственно, ответ в предшествующем рассуждении о балто-славянской языковой общности. Если там мы пришли к выводу, что общность эта распадалась в результате экспансии носителей лужицкой культуры, охватившей во 2-й половине II тысячелетия до н. э. пространства бассейна Одры, Вислы с Бугом и Верхнего Днестра и разрывавшей связь носителей лужицкой культуры с расположенной восточнее частью балто-славянской общности, и положила этим основу дальнейшего, уже обособленного развития общности, которую мы называли праславянской, то тем самым мы определяли территорию прародины славян: она охватывала тогда пространство, о котором уже говорилось выше, т. е. пространство между средним и нижним течением Одры на западе и правым берегом Буга на востоке, Балтийским побережьем в районе устья Одры и Вислы на севере и подножьем западных и средних Карпат на юге.

На этой территории праславянское единство, в соответствии с данными археологии, представленное ответвлением лужицкой культуры, явившейся наслоением на субстрат культуры шнуровой керамики, которая еще раньше ассимилировала уральский субстрат (культуры гребенчатой керамики), — развивалось в течение нескольких (6—8) веков довольно спокойно, без существенных отклонений и внешней миграции, благодаря чему повышался и совершенствовался уровень его материальной производительности; вместе с тем и языковая эволюция происходила спокойно, в медленном темпе, не изменяя существенно унаследованного со времени балто-славянской общности состояния языка<sup>2</sup>. На основе этого постепенного развития сравнительно рано, т. е. уже около VII в. до н. э., вероятно, и образовались условия, способствовавшие тому, что лужицко-праславянское единство начало экспансию на восток, на территории позднейшего Подолья и Волыни и прилежащих земель. Там на субстрате более ранней так называемой комаровской культуры — этнически, видимо, фракийской, — связанной происхождением с широко распространившейся трипольской культурой, достигающей бассейна Средиземного моря, возникло в гальштатский период (т. е. примерно между 700—400 гг.) единство так называемой висоцкой культуры с отчетливыми чертами «лужицкой», свидетельствующими о сильной культурно-этнической инфильтрации, берущей начало на территории бассейна Одры и Вислы. Это единство стало в последующие века мостом, связывающим первоначальные очаги кристаллизации праславянства с территорией в бассейне среднего и верхнего Днестра, где

<sup>1</sup> См. ВЯ, 1958, № 1, стр. 37—41.

<sup>2</sup> Ср. Т. Lehr-Splawinski, Szcik dziejów języka prasłowiańskiego (печатается в журн. «Studia z filologii polskiej i słowiańskiej», т. III).

праславянское единство нашло широкое поле для экспансии и бурного развития. Но прежде чем это произошло, почти одновременно с расширением радиуса действия лужицко-праславянской культуры в Подолии и Воьльни, в северной и северо-восточной части ее первоначального распространения началось миграционное движение и столкновения между группами, представляющими разные культуры, входившие в ее состав (так называемая поморская культура, культура подколпачных погребений и др.), что привело к сильным нарушениям постепенного развития этого единства и к явному снижению его культурного уровня.

Новое единство, сохраняя в основном связь с лужицкой культурой, изменилось в конце концов в период III—II в. до н. э. в как бы новое, может быть, более однородное, но менее совершенное в культурном отношении единство, имеющее в польской науке название культуры могильных ям («kultura grobów jamowych»). Учитывая несомненные связи между вновь возникающей культурой и материальной культурой раннеславянских племен, следует считать единство культуры могильных ям археологически соответствующим праславянству в его новейшей, конечной фазе развития. Усиленный темп миграции и культурных изменений, которые привели к его обособлению, нашел также отражение в области развития языка, вступившего в стадию более быстрых и глубоких изменений в грамматической структуре и лексике, что приводило к значительному большому, по сравнению с предыдущим лужицким периодом, отделению языка от старой балто-славянской основы<sup>1</sup>. Одновременно с этими процессами происходило параллельное развитие культуры в районах бассейна верхнего Днестра, Буга и среднего Днепра.

Сильная инфильтрация лужицко-праславянской этнической культуры, происходившая на территории высококой культуры, явилась началом процессов, которые, несмотря на различную субстратную основу, привели почти одновременно с оформлением этнического единства культуры могильных ям к образованию на этой территории групп, очень близких ему по типу культуры (так называемая зарубинецкая культура и др.), которые советской наукой объединяются в группу под названием культуры полей погребений. Близость ее в отношении культуры с группой культуры могильных ям достаточно очевидна и значительна, поэтому, без сомнения, можно утверждать, что она образовывала вторую, не менее продуктивную и стойкую в культурном отношении, а количественно, несомненно, более сильную часть праславянства, которая в короткое время — во всяком случае в течение первой половины I тысячелетия н. э. — охватила своей экспансией пространство, значительно превышающее первоначальную лужицко-праславянскую территорию. Принимая во внимание неразрывную связь всего этого единства с материальной культурой раннеславянских восточных племен, что свидетельствует о непрекращавшемся процессе заселения, нельзя сомневаться в принадлежности населения этих областей к языковому праславянскому единству, хотя, очевидно, различие этнически-языковых субстратов заставляет считаться с определенными диалектными различиями, которые должны были отличать их наречия от западных праславянских диалектов. К сожалению, разницу эту невозможно наблюдать непосредственно; она может быть только предметом более или менее смелых гипотез.

В свете всех этих рассуждений можно прийти к выводу, что территория прародины славян на последнем этапе существования праславянской общности была значительно большей, чем на первом этапе: она охватывала пространства от Одры на западе до бассейна среднего Днепра с Дес-

<sup>1</sup> Ср. Т. Lehr-Spławiński, указ. соч.

ной включительно на востоке. Границы его восточной части в равной степени в направлении с юга до Черноморского побережья и к северу в сторону бассейна западной Двины, Оки, средней Волги и верхнего Дона в данный момент невозможно определить более точно<sup>1</sup>.

Т. Лер-Сплавинский (Краков)

В настоящее время является общепризнанным, что славянская прародина находилась между Карпатами, Приднепровьем (заходя даже на левый берег Днепра) и Пинскими болотами — на территории, где с древнейших времен господствует чисто славянская топонимика. Разногласия имеются относительно западной границы этой прародины: некоторые ученые, например Лер-Сплавинский, полагают, что почти вся территория современной Польши вплоть до Балтийского моря и до Одры входила в ее состав. Другие, например Фасмер, считают, что западная граница славянской прародины ни в коем случае не переходила восточной границы бука (*Fagus silvatica*), так как старое индоевропейское слово \**bhāgos*, обозначавшее это дерево (ср. лат. *fāgus*, др.-исландск. *bök*, др.-в.-нем. *buohha*), у славян получило значение «бузины» (русск. диал. *боз*, польск. *bez*, сербск. *баз*, болг. *бъз*), а для обозначения «бука» славяне заимствовали, после перехода ботанической границы, германское название этого дерева: «бук». В пользу теории Фасмера говорит то обстоятельство, что и в Греции, где бук в дикорастущем состоянии не встречается, вышеупомянутое индоевропейское слово (греч. *φηγός* *φᾶγός*) изменило свое значение и обозначает «дуб». Факт заимствования общеслав. *букъ* из какого-то германского наречия не подлежит сомнению. Сомнение вызывает, однако, сопоставление общеслав. *бъзь* «бузина» с лат. *fāgus* и германск. *bok*: ожидалось бы общеслав. \**базъ*, и переход значения «бук» > «бузина» ботанически необоснован. Во всяком случае в проводимую Фасмером на основании старых ботанических исследований границу бука — от Калининграда до Одессы — следует внести крупную поправку, как указал на основании новейших палеоботанических исследований Чекановский: бук не встречается и никогда не встречался в дикорастущем состоянии в районах Гнезна, Калиша и Варшавы, так как эти районы всегда отличались континентальным климатом и, следовательно, более холодными зимами, чем лежащие к северу от них районы Гданьска и Калининграда, где бук растет свободно. Районы Гнезна, Калиша и Варшавы могли, следовательно, входить в состав славянской прародины, западная граница которой, таким образом, могла доходить до Верхней Одры. Так как, однако, вся территория, лежащая к северу от Верхней Одры, представляла собой равнину, полого спускающуюся к Балтийскому морю без каких бы то ни было естественных преград, то весьма вероятно, что экспансия славян раньше всего направилась именно на север и на северо-запад и что еще задолго до конца праславянской эпохи, вероятно, уже около начала нашей эры, славяне достигли берегов Балтийского моря. Общеславянское заимствование из германского слова «бук» свидетельствует о том, что славяне познакомились с этим деревом, а значит перешли границу бука еще до окончательного распада их языкового и этнического единства.

В. Кунарский [(Хельсинки)]

<sup>1</sup> О формировании и территориальном распространении восточного славянства см. книгу П. Н. Третьякова, «Восточнославянские племена» (2-е изд., М., 1953) и мою рецензию на эту книгу (ВЯ, 1955, № 1).

В. Кругман (*KZ*, 73, 25, см. также А. Шерер, *Kratylos* 1, 8) вновь подчеркнул важность того свидетельства, которое известно под именем *Buchenargument* и при помощи которого следует определить крайние восточные и северные границы хотя бы для европейских индоевропейцев. К ним относятся мизийцы и фракийцы, от которых засвидетельствовано *mūsos* (из древнего *bhūgos*). И несмотря на совсем особый корневой вокализм, с этой лексической группой совпадает и слав. *buz, boz, baz, bez* (в словенском) так же, как и сатемовые глоссы Гесихия *pēdos* и *pēdinos*. Изменение значения этого фитонима не изолировано. Но слав. *bukŭ* (из древнего *bhauqo*) нельзя рассматривать как заимствование из германского, поскольку письменные обозначения именно красного цвета были более выразительны. Отсюда и употребление для письма бука, сердцевина которого была красноватой (нем. *Roibuche*). Вследствие этого слав. фитоним *bukŭ* полностью совпадает с доклассическим балканским *bauko, boko* «красный», которое засвидетельствовано глоссами Гесихия *baukis, bōka, bōkon* и *Bōkaron*, как и монофтонговый вариант *bakkaris*. Это античное восточно-балканское *bauko* подтверждает постоянство славянского идиоглотского фитонима *bukŭ*. Согласно этому древнейшую праславянскую территорию следует искать не на далеком севере, но как раз в районе линии бука, которая идет от Калининграда к Одессе и Крыму. Возможно, что сорок веков тому назад эта линия проходила несколько южнее. Во всяком случае древнейшая территория славянских индоевропейцев не обусловлена этим мнимым заимствованием из германского, тем более, что в славянском словаре уже было свое соответствие лексической группе *bhauqo* в новом значении. Из этого словаря были переданы балтийским соседям термины *bukŭ* и *baz*. О южных границах праславянской родины в районе бука говорят некоторые лингвистические и культурно-исторические детали, которые рассматриваются [в моей статье «Protoslavica».

М. Будимир (Белград)

Издавна в обсуждении вопроса с местоположением славянской прародины чаще всего принимают участие языковеды. Даже в капитальных трудах этнографа и историка древнего мира Л. Нидерле, у которого ярко проявляется комплексный метод исследования, языковедческий материал занимает не последнее место. Это свидетельствует о том, что аргументы языкознания всегда оценивались очень высоко, хотя вместе с тем в последнее время появился и известный скептицизм. Оказалось, что некоторые языковедческие данные (как, например, название бука и его распространение на территории праславянской родины) были переоценены и даже неправильно толковались. Это послужило поводом к сосредоточению интересов на археологических изысканиях и усилило значение комплексного метода. Но и в лингвистической среде все еще остается — оправданно или нет, это решит будущее — известное сомнение относительно возможностей, которыми располагают археологи для окончательного разрешения вопросов происхождения славян. Кроме того, некоторые опасаются, что при комплексном изучении одного объекта теряется гомогенность доказательства — необходимый принцип научного разыскания.

Вне зависимости от серьезного вопроса о том, может ли языкознание самостоятельно решить проблему первоначальной территории славян, необходимо оценить количественные и качественные данные, которыми располагают языковеды в этом случае, и конкретно указать, к какой эпохе праславянской общности эти данные относятся. Каким материалом поль-

зуются языковеды в этом случае? Они используют указания топонимии и гидронимии, сравнительной фитонимии и заимствований. Нужно признать, что эти данные ограничены количественно и по поводу их ценности не существует единого мнения. Известные до сих пор опыты определения первоначального места поселения славян, а также их результаты в достаточной степени разнообразны. Они группируются в ряд гипотез (около 10), хорошо представленных З. Рысевичем в его работе (*Z. Rysiewicz, O praojczyźnie Słowian, «Studia językoznawcze», Wrocław, 1956, стр. 71—95*). В этих опытах хронологическая характеристика праславянской родины очень неясна и шатка.

Независимо от скурых свидетельств других наук, языковые данные для одних исследователей указывают на раннее восточноевропейское расположение праславян (по Поднестровью, или за Неманом и Днестром, или по Двине и Неману), для других, наоборот, указывают на западную и северную прародину (на месте современной северо-западной Польши до Одера на запад; ср. *K. Jażdżewski, Atlas do pradziejów Słowian, Łódź: I—1948; II—1949*). Третья группа исследователей, преимущественно языковеды и этнографы, придерживаются компромиссного понимания, подкрепляемого Нидерле, по которому праславянская родина может быть помещена между Карпатами и приморскими районами, от р. Лабы до верховьев Днестра. В стороне от всех мнений, заслуживающих внимания, стоит представление К. Мошинского об азиатском или поднепровском происхождении славян (см. его книгу «*Pierwotny zasięg języka prasłowiańskiego*», Wrocław — Kraków, 1957).

Как бы ни были ненадежны показания археологии, они достаточно часто согласуются с известными лингвистическими аргументами. Несомненно, вопрос о славянской прародине последовательно связан с проблемой прародины индоевропейцев. Но попытка толкования индоевропейской общности представляет еще большую трудность и по существу и территориально. Известно одно предположение, наиболее правдоподобное и защищаемое О. Шрадером, что индоевропейская родина находилась в восточной Европе с центром в черноморских степях. К двум другим предположениям — о северном, нордическом (германском), происхождении индоевропейцев и о среднеазиатском начале этой этнически-языковой ветви (последнее предположение было поддержано некогда Энгельсом, в недавнее время — Грозным) — у большинства исследователей остро критическое отношение.

В последнее время преподносится в обновленном виде теория придунайской прародины индоевропейцев, т. е. дако-фракийской области Балканского полуострова. Здесь следует четко различать, относится ли эта теория к исконной, или же ко второй, или даже третьей прародине индоевропейцев. Нет сомнения, что и исконная прародина славян последовательно расширялась, и более надежно говорить о второй или более поздней родине славян накануне их дифференциации, т. е. о периоде в начале нашей эры.

Очень важное значение придается тому обстоятельству, что, возможно, лужицкая культура является славянской или хотя бы протославянской. Защитники этой гипотезы уверены в западном расположении славянской прародины, что поддерживается и другими исследователями (Лер-Сплавинский), хотя многие сомневаются в славянском характере былой лужицкой культуры или же указывают на другие источники (например, Фалькенхаан). С другой стороны, исследования П. Третьякова, основанные на ряде ценных археологических достижений советской науки в последнее время, расширяют границы древнейших поселений славян дальше на восток, где очерчивается другой древний центр славян в Днепропровской области. Многочисленность славян накануне распада праславянской общности —

исторически засвидетельствованный факт. Этот аргумент совпадает с предположением об обширности славянской территории, т. е. с географическим фактором. Существует ли способ проверки этих доказательств, которые могут строго логически подкрепить предположения археологов? Один из таких способов усматривается в анализе диалектного состояния праславянского языка. В последний период своего существования славянская языковая территория имела тенденцию к разделению на восточную и западную, северную и южную части. По моему мнению, определение хронологической последовательности этого разделения очень рискованно. Важнее, мне кажется, то обстоятельство, что значение географического фактора при оценке диалектного дробления (существует мнение, что разделение на восточную и западную ветвь более вероятно при учете географических условий) ослабляется, если принять во внимание характер общественного устройства славян, который мог способствовать принятию любого территориального направления при расселении (дифференциации). Притом такая дифференциация была качественно слабой, только фонетической, и не проводилась систематически и безусловно.

Все это показывает, что диалектное состояние праславянского языка — ненадежный показатель территориального состояния славянской прародины. Самым вероятным является раннее размещение славян в Днепроградской области. Эта вероятность станет еще более реальной, когда будут лучше разработаны вопросы об ирано-славянских, славяно-хеттских и славяно-тохарских языковых отношениях. Это даст возможность оправдать в известном смысле автохтонность всех северных славян.

Что касается периода непосредственно перед нашей эрой, то нет сомнения, что праславянская родина в это время простиралась между Карпатами и Балтийским морем с менее ясными и неустойчивыми очертаниями на западе (в бассейне Одры) и востоке (в бассейне Днестра и Днепра).

Ив. Лекюв (София)

Данная проблема, разумеется, очень сложна; я обращаю внимание только на один специальный, но тем не менее важный вопрос из этого комплекса: жили славяне (т. е. «праславяне») по берегам Балтики или нет. По моему мнению, в данном случае — вопреки противоположным утверждениям — решающим является праславянское существительное \**moře* и его семантика, поскольку это слово и сейчас бытует во всех славянских языках, всюду в соответствующем звуковом виде, и имеет устойчивое значение «море». Даже в чешском языке, хотя его носители на сотни километров удалены от морей, слово *moře* в закономерном чешском звуковом виде имеет то же самое значение. Весьма характерно в этом смысле свидетельство сербско-хорватского языка. В то время как в приморских сербско-хорватских говорах известен большей частью акцентуальный тип *mòre*, с вторичным *ô* (очевидно, под влиянием итальянского *mare* с ударным *a*), в континентальных сербско-хорватских говорах, удаленных от моря, бытует тип *mòre* с закономерным ударением *˘* на гласном *o*, по происхождению кратко, что служит доказательством истонного характера этого типа. Все это означает, что традиционное представление о море славянские языки пронесли до настоящего времени. Конечно, в некоторых местах существительное *moře* могло употребляться и со значением «большая масса воды вообще» (или же это могло сохраниться в качестве архаизма), как, например, в севернорусских говорах, где *more* может означать и «озеро» (П. Я. Черных), но, судя по данным большинства славянских диалектов,

это могло быть результатом побочного семантического развития этого слова, т. е. могло произойти то же, что случилось с географическими названиями Каспийского озера, озера Байкал и т. д., которые называют морями из-за их величины. С другой стороны, если предположить, что *moie*, возможно, заимствование из древненемецкого *marī* (для чего нет формальных доказательств) и что индоевропейский корень *\*mar-* со значением «жидкость» встречается и в балтийских языках, то образование на *\*-je* собственно славянское и связано как раз с понятием «море». А этот процесс нельзя было бы представить, если бы славяне в своей прародине познакомились с Балтикой только опосредствованно, на основе сведений, полученных от своих северных соседей — германцев и балтов.

И. Попович (Белград)

Приблизительные границы славянской прародины можно указать только на основе выводов: а) археологии; б) славянской топонимии, особенно гидронимии; в) заимствований древнейшего времени. При этом должны быть приняты во внимание свидетельства указанных разделов науки применительно к народам, соседствующим с древними славянами. Ср. мою статью «Задачи и методы исследования русской топонимики» («Beiträge zur Namenforschung», 6, 1955).!

Э. Дикенман (Берн)

Несмотря на усилия поколений лингвистов, историков, археологов, представителей других смежных дисциплин проникнуть в жизнь древних славян, вопрос о их прародине продолжает оставаться нерешенным. Нам более или менее определено известна территория славян периода, непосредственно предшествовавшего их распаду на отдельные, самостоятельно развивавшиеся племенные группы и народности. Эта территория достаточно обширна (верхнее и среднее Поднепровье на востоке, Прикарпатье и Повислинье на западе) и, конечно, не является изначальной в своих границах. Единство языка не может бесконечно поддерживаться только унаследованной традицией. Само происхождение этого единства предполагает существование сравнительно ограниченной территории, на которой проживали носители праязыка. Но была ли искомая территориально ограниченная прародина славян более или менее постоянной географической величиной? На этот вопрос, конечно, нельзя дать положительного ответа. Надо полагать, что в течение многих веков, со времени возникновения праславян до времени их распада, границы территории праславян много раз изменялись и притом, вероятно, не один раз весьма существенно. Праславяне имели не одну, а много прародин, начиная с той, которую они занимали в эпоху своего формирования, и кончая прародиной, на которой они жили в эпоху, предшествовавшую их распаду. Прародина — категория изменчивая, непостоянная.

Где и как искать первичную прародину славян (прародину времени их выделения из индоевропейского языкового единства или формирования их иным путем), как определять дальнейшие ее видоизменения?

За последние годы много попыток в этом направлении было сделано археологами, занимавшимися проблемами славянского этногенеза. Однако, как известно, археологические культуры сами по себе безмолвны в этническом отношении, поэтому непригодны для освещения этногенетических проблем. Археологические материалы могут быть полезными (а иногда и существенно необходимыми) только при наличии прямых истори-

ческих свидетельств и проверенных языковых данных, являющихся решающими в изучении этногенеза. Вне этих условий этногенетические гипотезы археологов никогда не будут подниматься, при всей своей наукообразности, выше уровня досужих домыслов. Археологические ареалы далеко не всегда совпадают с ареалами этническими.

Основным методом решения проблемы прародины славян может быть только метод лингвистической палеогеографии. Реализация этого метода может дать существенные результаты, когда, во-первых, языковые явления праславянского языка и соседних с ним родственных и неродственных языков поддаются относительной хронологизации и когда, во-вторых, принимаются во внимание не одно-два явления, а вся совокупность фонетических, грамматических и лексических особенностей. Данные других научных дисциплин могут иметь для лингвистической палеогеографии огромное значение. Особенно это касается лексики. Представляется очень важным исследовать все имевшиеся в праславянском языке названия животных, растений, особенностей местного ландшафта и других явлений природы, имеющих в своем распространении локальный характер. Полученные результаты этимологических и лингво-палеогеографических исследований должны подкрепляться данными палеозоологии, палеоботаники и других дисциплин. Опыты такого рода исследований при определении прародины славян (и не только славян), как известно, имеются. Достаточно напомнить о роли, которая выпала на долю названий бука и лосося (из последних работ на эту тему назову здесь содержательную статью проф. М. Рудницкого «Wartość nazw drzewa bukowego, łososa i rdzenia *lendh* — dla wyznaczenia prakolebki (praojczyzny) indoeuropejskiej i słowiańskiej», «Biuletyn polskiego towarzystwa językoznawczego», zesz. XV, Wrocław—Kraków, 1956). Однако нельзя решать такие большие и сложные вопросы, как проблема прародины, только на основании отдельных, хотя бы и показательных названий. Более или менее обоснованные предположения можно выдвигать, одновременно учитывая совокупность всех данных, которые должна нам предоставить лингвистическая палеогеография. В этой многообещающей отрасли языкознания основная работа еще впереди.

Ф. П. Филин (Ленинград)

Нельзя провести четкой границы между естественными и гуманитарными науками. Это отражается на проблеме формирования человека, решение которой усложняется с каждым днем. Существеннейшей и характернейшей чертой человека является язык, наличие которого, по-видимому, можно допустить уже для первобытных людей. Лингвистика отваживается подходить к проблеме возникновения языка, хотя не имеет на то достаточного основания и признает, что не в состоянии решить эту проблему собственными средствами. Тем не менее В. фон Гумбольдт прав, утверждая, что язык является колыбелью человечества. Исследователи с религиозной ориентацией в этой проблеме склоняются к моногенезу, а позитивисты — к полигенезу.

Человечество — это абстракция человеческих группировок (племена, роды, народности и т. д.). Путь в допустимо отдаленное прошлое должен проходить по этим промежуточным ступеням. Он привел бы нас к проблеме индоевропейцев. С тех пор как эта проблема поставлена наукой, она постоянно волнует ученый мир. Можно легко установить родство языков, но оно не уточняется во времени и пространстве. Все предложенные до



сих пор решения — более или менее правдоподобные гипотезы. В последнее время раздаются голоса разочарования, даже отрицания языкового родства. Оказывается, что к индоевропейской проблеме следует подходить не только изнутри, от индоевропейистики, но и с внешней стороны. Ни одна из групп языков, входящих в индоевропейскую семью, не имеет ясного объяснения своего возникновения, поскольку даже вероятные решения весьма различны. Такое положение будет продолжаться до тех пор, пока остается невыясненным основной вопрос индоевропейистики и пока он не будет освобожден от наслоений позднейших языковых групп.

Вопрос о родине славян и их происхождении является одним из самых запутанных и спорных. Особенные затруднения вызывают различные эмоциональные моменты, включающиеся в научную работу, о чем приходится сожалеть, поскольку решение славянской проблемы способствовало бы решению проблем индоевропейистики. Должны быть окончательно отброшены безосновательные теории об отчужденности славян от европейских центров. Все до сих пор намеченные проблемы ученые пытаются прежде всего решить чисто языковыми средствами. Язык, прошлое которого древнее, чем его зафиксированная история, дает малые возможности для хронологии. В таком случае языковедение нуждается в поддержке доисторической археологии. Археология в состоянии представить языковедению реалии материальной культуры, но не может установить связи материальной культуры с определенным народом. Антропология, особенно исследование рас, которыми в настоящее время несправедливо пренебрегают из-за прежних злоупотреблений, располагает пока что недостаточным материалом. Опыты последнего времени усиливают законные надежды, возлагаемые на антропологию. Этнография, стремящаяся исследовать развитие культур в одной временной плоскости, в противоположность археологии с ее сменами культур, пока что должна бороться с собственными трудностями. Все эти ответвления науки имеют значение вспомогательных дисциплин для вопроса этногенеза и прародины, решающая роль принадлежит языковедению. Из всего вышесказанного следует, что тезис советских этногенетиков является справедливым: ко всякому одностороннему (языковому, археологическому, этнографическому и др.) решению вопроса о прародине с самого начала следует отнестись скептически. Нужно отклонить всякое чрезмерное притязание какой-либо одной науки. Таким путем, в частности, следует П. Н. Третьяков в вопросе о славянской прародине, опираясь только на археологию.

Этот набросок будет более точно изложен и документирован в ответе на следующий вопрос.

*С. Боднарчук (Вена)*

Территория славянской прародины не была одинаковой во все времена. Весьма вероятно, что она была меньше в период отделения праславян от соседних индоевропейских племен, главным образом из группы *satem*, а также прагерманцев, а потом разрасталась по мере увеличения числа праславян и их более широкого расселения.

Легче всего определить территорию славянской прародины в последнее время ее существования, перед началом расселения отдельных славянских племен. Это можно сделать на основании археологических, этнографических, языковых, исторических, топономастических, зоо- и фитогеографических и, возможно, иных данных. Определение более древних фаз этой территории труднее, так как данных для этого меньше и они менее прозрачны.

На основании имеющихся данных можно утверждать, что ядром славянской прародины в последний период ее существования была река Днепр в верхнем и среднем течении. Как далеко, в какой период простиралась эта прародина на север и на юг, а в особенности на запад и на восток — определить должны вышеуказанные науки на основании имеющихся в их распоряжении или будущих более или менее точных данных.

Более труден вопрос: как долго сидели славяне на Днепре, когда и откуда они там появились? Учитывая гипотезу об индоуральском прародстве, следует допустить, что первоначально праславяне или их предки пришли с востока; если же признать славянский характер так называемой лужицкой археологической культуры, то придется допустить известные движения праславян и с запада на восток, на Днепр. Как примирить обе эти возможности, должна показать будущая более точная разработка этого вопроса.

А priori можно допустить более ранние переходы праславян с востока на запад, а позже, в лужицкий период, и с запада на восток. Можно также предположить, что и уральцы в очень давние времена двинулись с запада на восток — о присутствии уральцев на западе как будто говорят находки гребенчатой керамики в Польше — до Карпат и Силезии. Но и эти допущения требуют дальнейшей разработки и проверки на фактическом материале.

В. Эрнстс (Тарту)